

ТОМАС
ДЖЕРМС

Поворот винта

АБЭ/КА/СО/ОС/ОС/ОС

Генри Джеймс
Веселый уголок
Серия «Рассказы о
псевдосверхъестественном
и ужасном», книга 4

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156061

*Генри Джеймс «Поворот винта»: Азбука-классика; Санкт-Петербург;
2005*

Аннотация

Сюжет «Веселого уголка» построен вокруг эпизода возвращения Спенсера Брайдона в родной дом в Нью-Йорке. Герой пробыл в Европе знаменательный срок – тридцать три года. Разворачивающаяся в рассказе интрига напоминает ту, что представлена в более раннем рассказе Джеймса «Зверь в чаше».

Содержание

I	4
II	27
III	60

Генри Джеймс

Веселый уголок

I

– Все меня спрашивают, что я думаю обо всем, что здесь вижу, – сказал Спенсер Брайдон, – и я отвечаю как могу, то есть либо общим местом, либо совсем увиливаю от ответа, отделяюсь, короче говоря, первой чепухой, какая придет мне в голову. Но для них это невелик убыток. Ведь если бы даже, – продолжал он, – можно было вот так, по первому требованию, взять да и выложить все свои мысли на столь обширную тему, так и тогда эти «мысли» почти наверняка во всех случаях были бы о чем-то, что касается меня одного.

Он говорил это Алисе Ставертон, с которой вот уже почти два месяца, пользуясь всяким удобным случаем, вел подчас долгие беседы; и это времяпровождение и его склонность к нему, утешение и поддержка, которую, как оказалось, он в нем черпал, быстро заняли первое место среди удивительных неожиданностей, сопровождавших его столь запоздалое возвращение в Америку. Но здесь и все было для него в какой-то мере неожиданностью, что, пожалуй, естественно, –

ведь он так долго и так последовательно отворачивался от всего здешнего, тем самым давая простор и время для игры неожиданностей. Он дал им больше тридцати лет – тридцать три года, чтобы быть точным, – и они, как видно, повели свою игру в соответственном масштабе.

Брайдону было двадцать три года, когда он уехал из Нью-Йорка, теперь, стало быть, пятьдесят шесть лет – если только не считать прожитые годы так, как ему часто хотелось это сделать после возвращения на родину, – а тогда получалось, что он давно превысил все сроки, отпущенные человеку. Ибо понадобилась бы добрая сотня лет – как он часто говорил и себе, и Алисе Ставертон, – понадобилось бы еще более долгое отсутствие из родных мест и еще менее загруженное внимание, чтобы охватить все эти различия, все новизны и странности и, главное, все эти огромные перемены к лучшему или худшему, которые сейчас бросались ему в глаза, куда бы он ни посмотрел.

Но самым удивительным во всех этих событиях была полная их непредсказуемость; он-то думал, что долгим – из десятилетия в десятилетие – и всесторонним размышлением он достаточно подготовил себя к восприятию самых резких перемен. А теперь он видел, что ни к чему не подготовлен – он не встречал того, чего с уверенностью ожидал, и находил то, чего даже вообразить себе не мог. Соотношения и ценности – все перевернулось вверх ногами. То неприглядное и устарелое, чего он ожидал и что в дни его юности

так оскорбляло его рано пробудившееся чувство красоты, теперь приобрело для него даже какое-то обаяние, тогда как все «хваленое», современное, грандиозное, прославленное, с чем он теперь в особенности хотел ознакомиться, как и тысячи ежегодно устремляющихся в Америку простодушных туристов, – именно это становилось для него источником тревоги. Как будто всюду вокруг были расставлены капканы с приманкой, которая, когда ее раскусишь, вызывала крайне неприятное чувство, и даже прямое отталкивание, меж тем как неустанные его шаги продолжали нажимать все новые и новые пружины. Как зрелище это было, конечно, интересно, но могло бы совсем сбить с толку, если бы некая высшая истина не спасала положение. Руководимый с самого начала ее более ровным светом, Брайдон, конечно, не ради одних этих «грандиозностей» сюда приехал, да и главным образом не ради них, но повинуюсь побуждению, не имевшему с ними ничего общего, – и, чтобы это установить, не требовался какой-то глубинный анализ, ответ лежал на поверхности. Если выразиться выпендренно, он приехал, чтобы обозреть свои «владенья», к которым за последнюю треть столетия не приближался на расстояние меньше чем в четыре тысячи миль. Если же выразиться не столь скудоумно, он поддался соблазну еще раз повидать свой старый дом на углу, этот «веселый уголок», как он обычно и очень ласково его называл, – дом, где он впервые увидел свет, где жили и умерли многие члены его семьи, где он проводил праздники – эти отдушины

в его слишком замкнутом школой детстве, где он собирал редкие цветы дружеского общения в дни его замороженной юности, – дом, который уже так давно стал для него чужим, а теперь, после смерти двух братьев и окончания всех прежних договоренностей, неожиданно целиком перешел в его руки. Ему принадлежал еще и другой дом, не столь, правда, солидный, так как издавна было принято в первую очередь расширять и украшать «веселый уголок», посвящая ему главные заботы. Стоимость этих двух домов и составляла сейчас главный капитал Брайдона, с доходом, который за последние годы слагался из арендной платы и никогда не падал разорительно ниже (именно в силу превосходного первоначального качества обоих строений). Брайдон мог по-прежнему жить в Европе на то, что приносили ему эти два нью-йоркских арендных договора, жить, как он привык до сих пор и даже лучше, так как выяснилось, что второй дом (для Брайдона просто номер в длинной цепочке домов по улице), за последний год сильно обветшавший, можно на весьма выгодных условиях подвергнуть кардинальной перестройке, которая в будущем значительно повысит его доходность.

И тот дом, и другой были «недвижимая собственность», однако Брайдон заметил, что после своего приезда сюда он больше чем когда-либо делал между ними различие. Дом на улице – два высоко торчащие корпуса в западной ее части – уже перестраивали, перераспределяя его площадь на множество небольших квартир, – несколько времени тому на-

зад Брайдон дал согласие на такое его превращение, в котором он сам, к немалому своему изумлению, оказался способен принять участие, и порой, несмотря на полное отсутствие предшествующего опыта, тут же на месте достаточно толково, а иногда даже авторитетно разобраться в каком-нибудь практическом вопросе. Всю жизнь он прожил, повернувшись спиной к таким занятиям и обратив лицо к другим, совершенно иного порядка, и теперь он понять не мог, что это у него творится в том отсеке сознания, в который он раньше никогда не проникал, – откуда это внезапное оживление деловых способностей и строительного чутья. Эти достоинства, столь обычные у тех, кто его теперь окружал, в собственном его организме до сих пор дремали – можно даже сказать, спали сном праведников. А теперь при этой великолепной осенней погоде – такая осень поистине была благодеянием в столь непривлекательной обстановке – он бродил по стройке, упрямо преследуя что-то свое и втайне волнуясь; ничуть не смущаясь тем, что кое-кто называл всю эту его затею мелочной и вульгарной; готовый лазить по лестницам, ходить по переброшенным через пустоту доскам, копаться в стройматериалах, делая понимающее лицо; в общем, задавать вопросы, добиваться объяснений, стремясь действительно с толком разобраться в цифрах.

Все это забавляло, даже прямо как-то зачаровывало его и тем самым забавляло также и Алису Ставертон, хотя чаровало ее гораздо меньше. Но она ведь и не ждала, как он,

что ее материальное положение от этих затей улучшится, да еще в таких на удивление больших размерах. Брайдон знал, что ей и не нужно никакого лучшего положения, чем то, в котором она была сейчас в предзакатные часы своей жизни – скромный домик на Ирвинг-плейс, которым она давно владела и который ухитрилась с бережной заботой сохранить за собой во все времена своего почти непрерывного пребывания в Нью-Йорке. И если теперь Брайдон знал дорогу к этому домику лучше, чем любой другой адрес в Нью-Йорке среди всех этих чудовищно размноженных нумераций, от которых и весь город как бы превращался в страницу гроссбуха, разросшуюся, фантастическую, нею из прямых и перекрещивающихся под прямым углом линий и цифр, – если он усвоил ради собственного утешения привычку почти каждодневно проходить по этой дороге, то, пожалуй, больше всего потому, что встретил и распознал в дикой пустыне оптовости пробивающуюся сквозь грубую обобщенность богатства, силы и успеха маленькую тихую обитель, где и вещи, и тени (и те, и другие одинаково легких очертаний) сохраняли отчетливость музыкальных нот, пропетых высоким, хорошо поставленным голосом, и где все было проникнуто бережливостью, как ароматом сада. Его старая знакомая жила одна с единственной своей горничной, сама обмахивала пыль со своих реликвий, сама опраправляла свои лампы и чистила свое столовое серебро. В страшной современной свалке она, если могла, отходила в сторону, но смело выступала вперед и пус-

калась в бой, если вызов был брошен «духу», тому самому духу, о котором она потом гордо и чуть застенчиво говорила Брайдону как о духе лучших времен, духе их общего, теперь уже далекого, допотопного социального периода и порядка. Когда было нужно, она пользовалась трамваем, этим кошмарным вместилищем, в которое толпа на улице рвалась с таким же остервенением, с каким на море люди с тонущего корабля в панике рвутся в лодки; когда бывала вынуждена, она с непроницаемым лицом стоически претерпевала все публичные столкновения и испытания; и тем не менее она со своей стройной фигурой и какой-то обманчивой грацией, не дававшей понять, кто это перед вами – то ли молодая и хорошенькая женщина, которая кажется старше из-за пережитых горестей, то ли более пожилая, но хорошо сохранившаяся, благодаря счастливо усвоенному ею равнодушию ко всему; она с ее драгоценными упоминаниями о людях и событиях давних дней, с ее рассказами о прошлом, в которые и он мог кое-что вставить, – со всем этим она казалась ему прелестной, как бледный, засушенный между листьями книги редкостный цветок, и даже при отсутствии всяких других радостей она одна – так он чувствовал – уже была достаточной наградой за все его усилия. У них было общее знание – их знание (это маленькое притяжательное местоимение постоянно было у нее на языке), знание образов другого времени, на которые у него наслои́лся жизненный опыт мужчины, свобода бродяги, удовольствия, измены, куски жизни, стран-

ные и смутные для Алисы Ставертон, – одним словом, «Европа» в кавычках, и которые, однако, сейчас опять встали из глубин, незатемненные, отчетливые и любимые – при одном только беглом прикосновении этого «духа», с которым она никогда не разлучалась. Как-то раз она пошла вместе с ним поглядеть, как растет его «доходный дом», и он водил ее по доскам над пустотой и объяснял ей свои планы, и случилось, что в ее присутствии у него вышел короткий, но горячий спор с производителем работ – представителем строительной фирмы, взявшейся за перестройку, – из-за невыполнения им какого-то условия, оговоренного в контракте. И Брайдон так решительно встал на защиту своих интересов и так ясно доказал свою правоту, что мисс Ставертон кроме того что во время самой дискуссии очень мило покраснела, радуясь его победе, но и после сказала ему, правда, уже с несколько большей, чем всегда, дозой иронии, что он напрасно столько лет пренебрегал истинным своим талантом. Если бы только он не уезжал, он бы вовремя его обнаружил и мог бы опередить создателя небоскребов. Если б только он не уезжал, он, без сомнения, поднял бы с лежки какого-нибудь нового архитектурного зайца и в погоне за ним напал на золотую жилу. В ближайшие дни он часто вспоминал эти слова, их тихий серебряный звон, прозвучавший в лад с самыми странными и глубокими из его нынешних надежно запрятанных и тщательно заглушенных внутренних колебаний.

Примерно через две недели оно начало появляться, возникло вдруг совершенно неожиданно, это странное и бессмысленное чудо; просто встретилось ему – в таком образе он воспринимал это явление, немало все же заинтересовавшее и взволновавшее его, – как могла бы встретиться какая-нибудь странная фигура, неизвестный ему квартирант на повороте одного из полутемных коридоров в пустом доме. Причудливое это сравнение не шло у него из ума, а он еще заострил его подробностями – представил себе, как он распахивает дверь, за которой, он знал, никого нет, дверь в пустую и запертую комнату, и вдруг видит, подавляя внезапный испуг, что там на самой середине стоит кто-то, прямой и высокий, и пристально смотрит на него сквозь полумрак.

Посетив строящийся дом, Брайдон со своей спутницей пошли посмотреть также и другой, который всегда считался лучшим из двух и в восточном направлении по той же улице, столь обезображенной и оскверненной в западной ее части, образовал один из углов – действительно «веселый уголок» – с пересекающим ее более консервативным проспектом. Этот проспект, как сказала мисс Ставертон, не оставял еще претензий на бонтонную внешность, но старые его обитатели большей частью умерли, старых фамилий уже никто не помнил, только кое-где, то тут, то там, проскальзывала иной раз какая-то смутная ассоциация, вроде того как ветхий старик, задержавшийся допоздна на улице, которого можно случайно встретить и за которым хочется по доброте

сердечной присмотреть и последить, пока он не будет снова водворен под надежный домашний кров.

Наши друзья пошли вместе; он открыл дверь своим ключом, так как, по его словам, предпочитал оставлять дом пустым, имея на то свои причины, и только сговорился с одной женщиной, живущей неподалеку, что она будет приходить на час каждый день – растворять окна, подметать и стирать пыль. У Спенсера Брайдона действительно были свои причины, и он все отчетливее их сознавал; каждый раз, когда он сюда приходил, они казались ему все убедительнее, хотя он и не назвал их сейчас своей спутнице, так же как и не стал ей говорить, как часто, как прямо до нелепости часто он приходил сюда. На этот раз он только показал ей, пока они проходили по просторным и голым комнатам, какая абсолютная пустота царит здесь везде, так что кроме половой щетки миссис Мелдун, прислоненной в углу, нигде во всем доме, сверху донизу, не найдется ничего, способного привлечь грабителя. Миссис Мелдун как раз оказалась в доме – она многоречиво приветствовала посетителей, провожая их из комнаты в комнату, распахивала ставни, поднимала оконные рамы – все для того, как она пояснила, чтобы они сами увидели, как мало тут есть чего видеть. Да и правда, собственно, нечего было видеть в этой огромной мрачной раковине дома, и, однако, самое расположение комнат и соразмерное тому распределение пространства, весь этот стиль, говоривший о другой эпохе, когда люди более щедро

отмеряли себе место для жизни, – все это для хозяина было как бы голосом дома и мольбой о защите и, конечно, трогало его, как в устах старого слуги, всю жизнь ему посвятившего, просьба о рекомендации или даже о пенсии на старости лет. А тут еще замечание миссис Мелдун, сказавшей вдруг, что как она ни рада служить ему любой дневной работой, но есть просьба, с которой, она надеется, он никогда к ней не обратится. Если бы он захотел по какой-либо причине, чтобы она пришла сюда после наступления темноты, она бы ответила – нет уж, извините, об этом попросите кого-нибудь другого.

Тот факт, что здесь нечего было видеть, по мнению миссис Мелдун, вовсе не означал, что здесь так уж никогда и нельзя ничего увидеть, и она откровенно заявила мисс Ставертон, что недопустимо же требовать от порядочной женщины – ведь правда же, недопустимо? – чтобы она лазила по всем тем верхотуркам в недобрые часы дня. Газ и электричество были в доме выключены, и миссис Мелдун нарисовала действительно устрашающую картину перспективных своих блужданий по большим серым комнатам – да ведь и сколько же их тут! – при свете мерцающего огарка. Мисс Ставертон встретила ее справедливые протесты улыбкой и заверением, что сама она тоже ни в коем случае не пошла бы на такую авантюру. Спенсер Брайдон сперва помалкивал: вопрос о «недобрых часах» в его старом доме успел стать очень серьезным для него. Он и сам недавно начал уже «лазить» тут кое-где и очень хорошо знал, для каких целей три неде-

ли тому назад спрятал пачку свечей поглубже в выдвижном ящике красивого старого буфета, издавна стоявшего в глубокой нише в столовой как неотъемлемая ее принадлежность. Теперь он только посмеялся над своими собеседницами, однако тут же переменял тему разговора; во-первых, потому, "что его смех даже и сейчас, казалось, будил странное эхо, как бы сознательный человеческий отклик (он даже не знал, как точнее это определить), которым пустота и мрак отвечали на каждый произведенный им шум, когда он бывал в доме один, а во-вторых, потому, что ему показалось, что Алиса Ставертон вот-вот спросит его, осененная каким-то прозрением, не случилось ли ему уже раньше бродить здесь в ночную пору. К некоторым прозрениям он еще не был готов и, во всяком случае, сейчас успешно предотвратил дальнейшие расспросы до тех пор, пока миссис Мелдун не покинула дом, проследовав куда-то далее по своим делам.

К счастью, в этом столь освященном воспоминаниями месте у Брайдона с мисс Ставертон нашлось много такого, о чем можно было свободно и откровенно поговорить, так что сразу был высказан целый ворох соображений, чему положила начало она сама, проговорившая, оглядевшись с тоской вокруг:

– Но, надеюсь, вы не хотите сказать, что от вас ждут, чтобы вы и этот дом развалили на куски?

Он быстро ответил с вновь вспыхнувшим гневом: конечно, они именно этого и ждут и пристают к нему каждый день

с назойливостью людей, решительно неспособных понять, что человек должен иногда совершать и бескорыстные поступки. Этот дом, вот такой как он есть, пробуждает в нем интерес и радость – он даже не может выразить до какой степени! Ведь есть же все-таки еще и другие ценности, кроме этой окаянной арендной платы, ну и, короче говоря, короче говоря... Тут его перебила мисс Ставертон. – Короче говоря, – подхватила она, – вы так хорошо заработали на вашем небоскребе, что теперь, живя в роскоши на это несправедливо добытое богатство, можете позволить себе иногда и проявить чувствительность. – В ее улыбке, обращенной к нему, и в словах была все та же особенная мягкая ирония, осязаемая в доброй половине всех ее высказываний и происходящая именно от богатства ее воображения, а не так, как у многих людей из «общества», которые тшятся завоевать репутацию остроумцев с помощью дешевых сарказмов, свидетельствующих лишь о полном отсутствии у них остроумия. Ему было приятно знать, что в эту самую минуту, когда он после короткого колебания ответил: «Да, вы правы; точно так это и можно выразить!» – ее воображение все-таки отдаст ему справедливость. Он объяснил, что, если бы даже он ни доллара не получил с того, другого дома, он все же любил бы этот, и рассказал – кстати, более подробно, – пока они еще медлили в доме, бродя по комнатам, как здесь всех озадачивает его поведение, настолько, что кажется им какой-то нарочитой мистификацией.

Он говорил, как ценно для него оказалось то, что он вычитал здесь просто из вида стен, из формы комнат, из тех звуков, которыми пол отзывался на шаги, из ощущения в ладони отделанных серебром шаровидных ручек на дверях из красного дерева – ведь точно так же совсем недавно их сжимали руки умерших; короче говоря, перед ним встали семьдесят лет жизни, представленные всеми этими вещами, летопись почти трех поколений, считая дедушку, который умер здесь, и, наконец, неосязаемый пепел его, Спенсера Брайдона, давно угасшей юности, еще парящий в этом самом воздухе, как микроскопические мошки. Она слушала молча, будучи из тех женщин, которые умеют дать иногда проникновенный ответ, но совершенно не способны болтать. Поэтому она не выпускала в воздух тучи слов; соглашаться, одобрять и, в особенности, поддерживать она умела и без этого. Только под конец она чуть забежала вперед, сказала капельку больше, чем он сам выговорил:

– Да и почему знать? В конце концов, может быть, вы сами захотите в нем пожить...

Это его разом одернуло, так как было, собственно, не то, что он думал, во всяком случае, не в том смысле, какой она вкладывала в эти слова.

– Вы считаете, я мог бы ради всего этого совсем остаться здесь?

– Ну, имея такой дом... – Но у нее хватило такта не докончить свою мысль, в этом как раз и сказалась ее неспособ-

ность просто болтать. Да и как мог бы кто-нибудь с каплей разума в голове требовать, чтобы кому-то другому вдруг ни с того ни с сего захотелось жить в Нью-Йорке?

– Да нет, отчего же, – сказал он, – я мог бы жить здесь (в юности была же у меня такая возможность), мог бы все эти годы провести здесь. Тогда все было бы иначе и, наверно, достаточно «забавно». Впрочем, это уже другое дело. А знаете, что самое забавное во всем этом – я хочу сказать, в моей извращенности, в моем отказе согласиться на выгодную сделку? Это то, что у меня для такой позиции нет никаких разумных оснований. Да, никаких резонов. Разве вы не видите, что, будь у меня в этом деле хоть какой-нибудь резон, он бы непременно толкал меня в противоположную сторону и неизбежно был бы нацелен на доллары? Здесь вообще не существует иных резонов, кроме доллара. Так пусть же у нас не будет совсем никаких резонов – даже призрака их.

Они к этому времени уже спустились в холл, готовые к уходу, но с того места, где они стояли, через открытую дверь видно было далеко – в большой и квадратный главный зал с его почти античной прелестью широких простенков между окнами. Ее взгляд, устремленный туда, снова обратился к более близким предметам и на мгновение встретился с его взглядом.

– А вы уверены, что чей-то призрак не послужит скорее всего?...

Он прямо кожей почувствовал, что бледнеет. Но дальше у

них на этот раз не пошло. Он ответил чем-то средним между свирепым взглядом и усмешкой.

– А, призраки! Их, конечно, в доме должно быть полным-полно! Я бы стыдился, если б было не так. Бедная миссис Мелдун права, поэтому я и не просил ее ни о чем больше, как только заходить.

Взгляд мисс Ставертон опять ускользнул, и было ясно, что мысли, которых она не произнесла, все же проходят в ее мозгу. Даже в ту минуту, когда она глядела вдаль, в ту прекрасную большую комнату, она, может быть, представляла себе, как там что-то густело и уплотнялось. Упрощенное, как помертвая маска, снятая с красивого лица, оно производило на мисс Ставертон странное впечатление – как если бы на этом гипсовом слепке, в навеки неподвижных чертах, шевельнулось вдруг какое-то выражение. Но каковы бы ни были ее мысли, вместо всего этого она изрекла расплывчатую банальность:

– Еще если б он хоть был обставлен и в нем жили!... – Кажалось, она подразумевала, что, если бы дом был обставлен, Брайдон не так отрицательно отнесся бы к мысли о возвращении. Но, сказав, она тотчас быстро прошла в переднюю, как будто хотела оставить эти слова позади себя, а в следующую минуту Брайдон открыл парадную дверь, и вот они уже стояли вместе на ступеньках. Затем он запер дверь, и, пока он прятал ключ обратно в карман, поглядывая направо и налево по улице, у них было время приспособиться к натиску

более жесткой реальности Проспекта – это напомнило ему, как в пустыне солнце набрасывалось на путника в тот миг, когда он выходил из какой-нибудь египетской гробницы. Но, прежде чем сойти с крыльца, он все же рискнул произнести свою уже заготовленную реплику на ее последние слова.

– Для меня в нем и сейчас живут. Для меня он и сейчас обставлен.

И ей легко было сочувственно и деликатно вздохнуть в ответ.

– Ах да! Конечно...

Ведь его родители и любимая сестра, не говоря уже о других многочисленных родственниках, прожили в этом доме свой земной срок и встретили свой конец – это, разумеется, была неизгладимая жизнь в его стенах. Именно через несколько дней после этого, во время очередной почти часовой беседы с мисс Ставертон, Брайдон и жаловался ей на слишком лестное любопытство окружающих относительно его мнения о Нью-Йорке. А он еще не составил себе никакого мнения, которое было бы прилично высказать; что же касается того, что он «думает» – доброе или недоброе – обо всем, что здесь видит, то сейчас у него есть только одна тема для размышлений. И это, конечно, чистейший эгоизм, а кроме того, если ей угодно, даже какая-то извращенная одержимость. Оказалось, что с чего бы он ни начал, в конце концов непременно возвращался к вопросу, чем он сам лично мог бы здесь стать, какую бы вел жизнь и что бы из него вышло,

если б он набросил все в самом начале. И, признаваясь впервые в своей поглощенности этими нелепыми рассуждениями – что, конечно, тоже указывало на привычку слишком много думать о себе, – он тем самым подтверждал свою неспособность заинтересоваться чем-либо другим, ответить на призыв какой-либо объективной реальности.

– Что она, эта здешняя жизнь, сделала бы из меня, что она сделала бы из меня? – твержу я все время по-идиотски. Как будто это можно знать! Я вижу, что она сделала с десятками людей, с которыми я встречаюсь, и что-то прямо болит у меня внутри, прямо нестерпимо меня мучит при мысли, что из меня тоже могли что-то сделать. Только я не знаю *что*, и тревога и маленькая ярость от любопытства, которое ничем нельзя утишить, опять приводит мне на память то, что я испытал раз или два, когда решал – по разным причинам – сжечь важное письмо нераспечатанным. Как я потом жалел, как ненавидел себя – да, и я так никогда и не узнал, что было в письме. Вы можете, конечно, сказать, что это мелочь...

– Я не считаю, что это мелочь, – очень серьезно перебила его мисс Ставертон.

Она сидела у камина, а он беспокойно шагал перед ней взад и вперед, деля внимание между рассказом об интенсивности своих переживаний и рассеянным разглядыванием сквозь монокль милых маленьких вещиц у нее на камине. Ее вмешательство заставило его на миг остановить на ней более пристальный взгляд.

– Не беда, если бы и считали! – Он все-таки рассмеялся. – Это же, в конце концов, только сравнение, чтобы пояснить, что я сейчас чувствую. Ведь если бы я не настоял тогда с юношеским упрямством на своем, по общему мнению, противоестественном выборе – и это, можно сказать, почти что под угрозой отцовского проклятья, – если бы я там, за океаном, не продолжал идти по своему пути изо дня в день без сомнений, без колебаний, а главное, если бы все это не было мне так по душе и я это так не любил и не гордился собой с таким бездонным юношеским самомнением, – так вот, представьте себе, если бы все это, что я сейчас описал, вовсе бы не осуществилось, а осуществилось что-то совсем другое, ведь должно же было оно как-то совсем иначе повлиять на мою жизнь и даже на мою личность. Мне надо было оставаться здесь, если возможно, а я был слишком молод и в двадцать три года не мог рассудить, *pour deux sous*¹, возможно ли это. Если бы я подождал, то, может быть, увидел бы, что возможно, и тогда, живя здесь, стал бы со временем более похож на этих молодцов, которых здешняя жизнь так крепко ковала, что они стали весьма остры. Не то чтобы я так уж ими восхищался, нет, их привлекательность для меня или привлекательность для них чего-либо, кроме голой наживы, сейчас не идет к делу. Мне только важно понять, не упустил ли я со всем этим какого-то другого – фантастического, однако вполне возможного развития моей личности.

¹ Хотя бы совсем попросту (*фр.*).

Мне все чудится, что тогда где-то глубоко во мне таилось какое-то мое alter ego ², как расцветший цветок таится в тугом бутоне, и что я избрал такой путь, перенес его в такой климат, который загубил его раз и навсегда.

– И вы все гадаете, каков он был бы, этот цветок, – сказала мисс Ставертон. – И я тоже, если хотите знать. Я верю в ваш цветок. Я чувствую, что он был бы великолепный, большой, грандиозный.

– Вот, вот, именно грандиозный, – откликнулся ее гость. – А заодно уродливый и отвратительный.

– Вы сами в это не верите, – возразила она. – Если б верили, не гадали бы о нем все время. Просто знали бы, и все. Нет, вы чувствуете другое – это что тогда у вас была бы сила. И я тоже это чувствую.

– Я бы нравился вам такой? Она чуть помедлила с ответом.

– Как вы могли бы мне не нравиться?

– Понимаю. Я нравился бы вам такой. Вы предпочли бы меня в обличье миллиардера.

Она просто повторила свой первый ответ:

– Как вы могли бы мне не нравиться?

Он все еще стоял перед ней – эти слова как будто удерживали его на месте. Он понял их, понял все, что было в них заключено, – это подтверждалось уже тем, что он никак иначе на них не реагировал.

² Второе «я» (лат.).

– По крайней мере я теперь понял, что я собой представляю, – продолжал он так же просто, – обратная сторона медали достаточно ясна. Примером я ни для кого служить не мог; боюсь, что во многих кругах мне и в звании порядочно-го человека готовы отказать. Я бродил по странным тропам и поклонялся странным богам, и вы, наверно, часто думали, да ведь вы мне в этом сами признались, что все эти тридцать лет я вел эгоистическую, легкомысленную, недостойную жизнь. И вот видите, что она из меня сделала.

Она помедлила, улыбнулась ему.

– А вы видите, что она сделала из меня.

– О, вы из тех людей, которых ничто не может изменить.

Вы родились, чтобы стать тем, что вы есть, – в любом месте при любых условиях; вы то совершенство, которого ничто не может запятнать. И разве вы не понимаете, что, не будь моего изгнания, я не ждал бы так долго?... – Он запнулся от какого-то внутреннего укола в сердце.

– По-моему, главное, что надо понять, – проговорила она после паузы, – это то, что все это ничему не помешало. Это не помешало вам в конце концов оказаться здесь. Это не помешало всему, что сейчас происходит. Это не помешало вам сказать... – Тут и она запнулась.

Но ему хотелось разобраться во всем, что могло таиться в ее сдержанном волнении.

– Может быть, вы считаете – это ужасно! – что я уж лучше и быть не могу, чем был до сих пор?

– Нет, нет! Совсем вы не такой. – Она встала со стула и подошла поближе. – Но мне все равно! – Она улыбнулась.

– То есть, по-вашему, я не так уж дурен? Она подумала.

– Если я это скажу, вы мне поверите? То есть будет ли это для вас решением того вопроса, который вас так мучит? – Но, как бы прочитав в его лице, что он с чем-то не согласен, что у него, видимо, есть какая-то идея, может быть абсурдная, но от которой он сейчас не склонен отказаться, она закончила: – Ах, вам тоже все равно, но совсем по-иному – вам все равно, потому что вас ничто не интересует, кроме вашей собственной особы.

С этим Спенсер Брайдон согласился – да это же и было то, что он постоянно твердил. Но он внес существенную поправку.

– Только *он* – это не я. Он до такой степени другой человек. Но я хочу его увидеть. И я могу. И увижу.

Их глаза встретились на минуту, и что-то в ее взгляде подсказало ему, что она разгадала странный смысл его слов. Но ни он, ни она больше никак этого не выразили, и ее очевидное понимание – без возмущенного протеста, без дешевой иронии – тронуло его глубже, чем что-либо другое до сих пор, так как тут же на месте создавало для его придушенной извращенности что-то вроде воздуха, которым уже можно было дышать. Однако вслед за этим она сказала такое, чего он уж никак не ожидал: – Ну да, я же его видела.

– Вы?...

– Я видела его во сне.

– Ах, во сне!... – Это как-то принижало все, что он говорил раньше.

– Но два раза подряд, – продолжала она. – Я видела его, как сейчас вижу вас.

– Вам снился тот же самый сон?...

– Дважды, – повторила она. – Ну в точности тот же самый.

Это уже больше ему понравилось, потому что отчасти ему льстило.

– Вы так часто видите меня во сне?

– Да не вас – *его!* – Она улыбнулась.

Он опять обратил на нее испытующий взгляд.

– Так вы должны все о нем знать. – И, видя, что она не отвечает, добавил: – Ну и на что же он похож, этот негодяй?

Она колебалась, но он так сильно напирал на нее, что она, не желая уступать по каким-то своим собственным причинам, вынуждена была в конце концов прибегнуть к уловке.

– Я вам скажу как-нибудь в другой раз, – проговорила она.

II

Именно с этих пор он начал обретать для себя источник силы и тонкого наслаждения и даже каких-то, казалось бы, несоразмерных со здравым смыслом тайных и потрясающих волнений в той особой форме подчинения своей одержимости, которая у него к этому времени сложилась; и, соответственно, он, чем дальше, тем чаще, стал прибегать к этой своей способности, считая ее теперь огромным преимуществом.

В эти последние недели он, собственно, только ради того и жил, ибо настоящая жизнь в его восприятии начиналась лишь после того, как миссис Мелдун удалялась со сцены, и он, обойдя весь просторный дом от чердака до подвала и убедившись, что он здесь один, чувствовал себя наконец полным хозяином; и тогда, по собственному его молчаливому определению, он отпускал поводья. Ему случалось иногда приходиться и два раза в день. Из всех дневных часов он предпочитал тот, когда по углам уже копится темнота – короткие осенние сумерки; это было то время, на которое он больше всего – опять и опять – возлагал надежды. Тогда он мог, как ему казалось, более дружественно бродить и ждать, медлить и слушать, чувствовать свое сторожкое внимание – никогда еще оно не было таким сторожким! – на пульсе огромного, уже темнеющего дома; он любил этот час,

когда еще не зажигают ламп, и жалел только, что ему не дана власть сколько-нибудь продлить эти тускло-сумеречные минуты. Позже, обычно ближе к двенадцати, он приходил опять, но на этот раз для довольно долгого бдения. Он совершал обход со своим мерцающим светильником, шел медленно, держал его высоко, чтобы свет падал как можно дальше, и больше всего радовался, когда открывалась какая-нибудь далекая перспектива – анфилада комнат или переходы и коридоры, – длинная прямая дорожка, удобный случай показать себя для тех, кого он как будто приглашал явиться. Оказалось, что он мог свободно предаваться этим занятиям, не вызывая ничего любопытства; никто о них даже не догадывался. Даже Алиса Ставертон, которая к тому же была идеалом такта, полностью их себе не представляла.

Он входил и выходил со спокойной уверенностью хозяина, и случайность до сих пор ему благоприятствовала, так как если толстый постовой с Проспекта и видел иной раз, как он приходил в половине двенадцатого, то, во всяком случае, насколько Брайдону было известно, никогда еще не видел, как он уходил в два часа ночи. В ноябрьской ночной прохладе он совершал свой путь пешком и регулярно появлялся здесь к концу вечера, и это ему так же нетрудно было осуществить, как после обеда в гостях или в ресторане пойти в свой клуб или в гостиницу, где он остановился. А если он обедал в клубе и уходил попозже вечером, то всякому было ясно, что он идет к себе в гостиницу; если же он выходил,

проведя большую часть вечера у себя в гостинице, то, совершенно очевидно, только для того, чтобы пойти в свой клуб. Одним словом, все было легко – все было в заговоре с ним, все помогало и способствовало; даже в напряженности его ночных бдений было, видимо, что-то такое, что смазывало, сглаживало, упрощало всю остальную жизнь его сознания. Он встречался с людьми, разговаривал, возобновлял, любезно и непринужденно, старые знакомства, даже старался, насколько мог, оправдать новые ожидания, и, в общем, как будто приходил к выводу, что – независимо от его карьеры и всех этих разнообразных связей, о которых он говорил мисс Ставертон, что они нимало ему не помогают, – тем своим новым знакомцам, что наблюдали за ним, возможно поучения ради, он, во всяком случае, скорее нравился, чем наоборот. Он положительно имел успех в свете – неяркий и второстепенный – и преимущественно у людей, которые о нем прежде и понятия не имели. Все это были поверхностные звуки – этот гомон приветствий, эти хлопки их пробок, так же как его ответные жесты, были всего лишь причудливые тени, тем более выразительные, чем меньше значимые, – в игре *des ombres chinoises*³. В мыслях он весь день то и дело перемахивал через этот частокол деревянных тупых голов в ту другую, реальную жизнь, жизнь ожидания, которая, чуть только щелкал за ним замок парадной двери, начиналась для него в «веселом уголке» столь же обольстительно, как мед-

³ Китайских теней (*фр.*).

ленные вступительные такты какой-то дивной музыки начинают звучать тотчас же после удара о пюпитр дирижерской палочки.

Он всегда ловил первый звук, встречавший его в доме, – цоканье металлического наконечника его трости о старый мраморный пол в холле – эти огромные черно-белые квадраты, которые, он помнил, так восхищали его в детстве и так помогли тогда, теперь он это понимал, раннему развитию у него чувства стиля. В этом цоканье ему мерещился тусклый отзвук какого-то иного звона, дальний голос колокольца, подвешенного – кто скажет где? – в глубине дома, в глубинах прошлого, в том мистическом другом мире, который мог бы расцвести и для него, если бы он – к добру или к худу – сам его не покинул. И тут он делал всегда одно и то же: бесшумно отставлял трость в угол и весь отдавался ощущению дома как огромной хрустальной чаши – огромного вогнутого кристалла, который полнится тихим гулом, если провести мокрым пальцем по его краю. В этом вогнутом кристалле был, так сказать, заключен весь тот мистический другой мир, и для настороженного слуха Брайдона тончайший гул его краев – это был вздох, пришедший оттуда, едва слышный горестный плач отринутых, несбывшихся возможностей. И теперь он своим безмолвным присутствием обращал к ним призыв, пытаясь пробудить их к жизни, к той степени призрачной жизни, какая еще могла быть им доступна.

Они были робкие, может быть, неизбывно робкие, но, в

сущности, совсем не страшные – во всяком случае, он до сих пор такими их не чувствовал, – пока они еще не принимали форму – ту форму, которую он так жаждал, чтобы они приняли, и которую он в какие-то мгновенья как будто уже и сам видел, когда гнался за ними на цыпочках – на носках своих элегантных вечерних туфель – из комнаты в комнату и с одного этажа на другой.

Такова была сущность его видений – все, конечно, чистейший бред, – с чем он и сам бы согласился, если бы находился где-нибудь в другом месте и был чем-нибудь занят. Но все становилось правдоподобным, как только он оказывался в доме и на посту. Он знал, что он обо всем этом думает и чего добивается, – это было ясно, как цифра на чеке, представленном к оплате. Суть его мыслей сводилась к убеждению, что его второе «я» «является» здесь в доме как заправский призрак, а суть всех его собственных, Спенсера Брайдона, странных поступков – к стремлению выследить это второе «я» и с ним встретиться. Он бродил по всему дому, по всем уголкам, медленно, осторожно, но неустанно. – да, он все это делал, и миссис Мелдун была совершенно права, найдя для характеристики подобных действий столь удачный глагол – «лазить». И тот, кого он выслеживал, будет тоже бродить, так же неустанно. Но он будет очень, очень осторожен и не менее того увертлив. Уверенность в его очевидном, собственно, уже вполне ощутимом, уже слышном для уха бегстве от преследования все больше укреплялась в сознании Брайдо-

на, пока наконец не приобрела над ним власть, с которой ничто до тех пор им пережитое не могло сравниться. Брайдон знал – многие из тех, кто обо всем судит поверхностно, считали, что он зря тратит жизнь, предаваясь ощущениям. Но он никогда не испытывал удовольствия столь острого, как эта его нынешняя напряженность, не занимался спортом, который требовал бы одновременно столько терпения и столько смелости, как это скрадывание существа более тонкого, но когда его затравят, то, может быть, даже более опасного, чем любой лесной зверь. Термины, сравнения, даже простые охотничьи повадки теперь все чаще приходили ему на ум; были даже минуты, когда какой-нибудь случай из его небогатого охотничьего опыта вдруг будил еще более давние воспоминания – о юных его годах, о болотах, горах, пустыне, что тоже еще усиливало остроту нынешних его чувств, – воспоминания почти уже забытые, а теперь вновь оживленные для него мощной силой аналогии. В какие-то мгновенья он ловил себя на том, что, поставив свой одинокий светоч где-нибудь на камине или в нише, сам спешил отступить в тень или какое-либо укрытие, прячась за дверью или в проеме окна – точь-в-точь так же, как в те давние годы старался занять выгодную позицию под защитой скалы или за деревом, – и точно так же стоял там, затаив дыхание, весь отдаваясь ликованием этой минуты, тому высочайшему напряжению, какое познаешь только во время охоты на крупную дичь.

Страха он не испытывал (хотя все же задумывался над

этим, памятуя, что, как говорит молва, многие джентльмены, по собственному их признанию, во время охоты на бенгальских тигров или при близком соприкосновении с большим медведем Скалистых гор⁴ тоже задавали себе этот вопрос); его самого освобождало от страха одно обстоятельство, – тут по крайней мере можно быть откровенным! – именно сложившееся у него впечатление, такое непосредственное и такое странное, что пока что он сам внушал кое-кому страх, во всяком случае, опасения, куда более сильные, чем все, что он, Брайдон, мог бы в этом смысле испытать в будущем. Они уже распались для него на категории, уже стали совсем привычными, эти знаки, но которым он определял степень тревоги, вызванной его бдительностью и его присутствием, хотя и позволяли ему каждый раз с важностью отметить, что он, по-видимому, установил такую связь, овладел такой формой сознания, какой до сих пор еще не знало человечество. Сколько было людей, которые спокон веков и до наших дней боялись привидений, но кому удавалось так поменяться ролями и самому стать пугалом в привиденческом мире? Он бы, пожалуй, возгордился, если бы решился поглубже в это вдуматься, но, по правде сказать, он не слишком настаивал на этой теоретической стороне своего открытия. Привычка и повторение помогли ему в высокой степени овладеть спо-

⁴ *Большой медведь Скалистых гор* – медведь-гризли, отличающийся большими размерами и свирепостью. Скалистые горы не единственное место его обитания в Северной Америке.

способностью проникать сумрак расстояний и темноту углов, сводить обратно к исходной их невинности все предательские обманы неверного света, все зловещего вида формы, которые в полумраке порождаются обыкновенными тенями, колебаниями воздуха, изменчивым влиянием перспективы, так что, поставив где-либо свой одинокий светоч, он уже мог продолжать путь и без него, переходить в другие комнаты, и, подкрепленный лишь сознанием, что там глади есть свет на случай, если он понадобится, Брайдон и в самом деле видел, как будто он и правда зримо отбрасывал перед собой сравнительно более светлую полосу. С этой новой своей способностью он чувствовал себя как огромная крадущаяся кошка и думал иногда, уж не светятся ли в эту минуту у него огромные круглые желтые глаза и каково его злополучному второму «я» встретиться вдруг с этакой тварью. Однако он любил открытые ставни; всюду открывал те, что закрыла миссис Мелдун, а потом столь же аккуратно закрывал их, чтобы она не заметила; он любил – о, вот это он действительно любил, и больше всего в верхних комнатах! – ощущение твердого серебра осенних звезд сквозь оконные стекла; и, пожалуй, не меньше радовали его огни фонарей внизу, разлитое белое электрическое сияние, настолько яркое, что понадобились бы плотные занавески, чтобы не допустить его в комнаты. Это уже было нечто человеческое, реальное, общее у него с другими людьми; это принадлежало тому миру, в котором он жил до сих пор. И конечно, его как-то успокаивала та

моральная поддержка, холодно-общая и безличная, которую он, как казалось ему, находил в этом стойком и ровном свете, несмотря на все свое отчуждение. Эту поддержку он яснее всего чувствовал в комнатах, расположенных по широкому фасаду дома и вдоль его удлиненных боковых стен, гораздо слабее – среди внутренних теней и в задней его части. И если иногда во время своих обходов он радовался вдруг открывшемуся простору для глаза, то не менее часто помещения в тылу дома манили его к себе, как те самые джунгли, в которых укрывалась намеченная его жертва. Здесь подразделения были гораздо мельче; в частности, большая пристройка, вмещавшая в себе множество маленьких комнат для слуг, изобиловала сверх того углами и закоулками, чуланами и переходами, особенно в разветвлениях пространной задней лестницы, над которой Брайдон нередко склонялся, опершись о перила и заглядывая куда-то глубоко вниз, не утрачивая серьезности даже в те минуты, когда – как он догадывался – для стороннего наблюдателя он, пожалуй, больше всего походил на великовозрастного простачка, играющего с кем-то в прятки. Где-нибудь в другом месте он, возможно, и сам бы сделал такое ироническое rapprochement⁵, но тут, в этих стенах, и невзирая на освещенные окна, его верность своей задаче была неуязвима даже для цинического света Нью-Йорка. Именно эта идея Брайдона о раздраженности сознания его жертвы стала для него пробным камнем – ведь с са-

⁵ Сближение (*фр.*).

мого начала он убедил себя – о, так твердо! – что он может еще больше развить, так сказать, «воспитать» свою восприимчивость. Он даже самым важным ее свойством считал эту способность поддаваться «воспитанию» – что, в сущности, было лишь другим названием для его тогдашнего способа проводить время. И он всячески будил ее, доводил до совершенства упражнением, и в результате она стала столь тонкой, что теперь он уже улавливал впечатления, подтверждавшие его общий постулат, но которые раньше до него не доходили. Это в особенности касалось одного чувства, которое за последнее время нередко посещало его в верхних комнатах; то была уверенность, совершенно безошибочная и возникшая в определенный момент, именно когда Брайдон возобновил свою кампанию после некоего дипломатического перерыва в виде трех ночей нарочитого отсутствия дома, – уверенность, что за ним идут по пятам, что его выслеживают с определенного, тщательно продуманного расстояния и со специальной целью – чтобы он не воображал столь заносчиво и самонадеянно, будто только он один может здесь кого-то преследовать. Это встревожило его, под конец даже совсем расстроило, так как из всех мыслимых впечатлений это было для него наименее желательным. Его держали на глазах, тогда как сам он, по крайней мере в отношении того, что составляло суть его здешней задачи, был все равно что слеп, и единственное, к чему он мог сейчас прибегнуть, – это внезапный поворот и быстрый ход назад на сближение. Он так и поступал: мгно-

венно поворачивался и делал несколько стремительных шагов обратно, как будто надеясь хоть ощутить на лице дуновение воздуха от чьего-то другого столь же быстрого поворота. По правде сказать, его порой отрывавшаяся от местных обстоятельств мысль по поводу этих маневров приводила ему на память Панталоне в рождественском фарсе ⁶, когда его бьет по спине и еще всячески потешается над ним вездесущий Арлекин; но влияние самих этих обстоятельств, всякий раз как Брайдон ему подвергался, оставалось неизменным, так что и эта ассоциация, если бы он позволил ей стать постоянной, возможно, с какой-то стороны только способствовала бы укреплению его серьезности. Я уже сказал, что он, для того чтобы создать в доме обманчивое ощущение передышки, отсутствовал три ночи подряд; и результат этого третьего отсутствия только подтвердил то, что уже назревало после второго. По своем возвращении в ту ночь – следующую за последним перерывом – он стоял в холле и смотрел вверх по лестнице с такой инстинктивной уверенностью, какой до сих пор еще не испытывал. «Он там наверху, ждет, – не так, как бывало, готовый отступить и исчезнуть. Нет, сей-

⁶ *Панталоне и Арлекин в рождественском фарсе.* – Традиционное рождественское уличное представление – пантомима, унаследовавшая персонажей итальянской комедии дель арте. Панталоне – богатый скупой купец преклонного возраста, который любит волочиться за девушками и постоянно попадает впросак; Арлекин – первоначально глуповатый и невежественный деревенский парень, впоследствии наделенный в народной рождественской пантомиме не только гибким умом, но и волшебной палочкой.

час он не хочет сдавать свои позиции – и это в первый раз, а ведь это и доказывает – не правда ли? – что с ним что-то случилось, – так Брайдон рассуждал, стоя там с рукой на перилах и ногой на самой нижней ступеньке, в каковой позиции он чувствовал, как никогда раньше, что даже самый воздух охлажден его неотразимой логикой. Да его и самого пробрал холодок, когда он вдруг представил себе, какие все это должно повлечь за собой последствия. – Что, туго ему приходится? Да, теперь он разобрался в положении, уразумел, что я пришел сюда, как говорится, «насовсем». И ему это окончательно не нравится, он не может это вынести, то есть, я хочу сказать, в том смысле, что его гнев, угроза его интересам сейчас начинает перевешивать его страх. Я охотился за ним, пока он не «восстал»; и теперь там, наверху, меня ждет то, что произошло, – он сейчас как вооруженный клыками или рогами и наконец загнанный на охоте зверь». В ту минуту Брайдоном владела уже помянутая мною – но обусловленная неизвестными мне влияниями! – точная уверенность во всем описанном как в непреложном факте; однако, хотя в следующий момент она и заставила его облиться потом, он не соглашался ни приписать это страху, ни перейти немедленно к решительным действиям. И все же его пронизал в ту минуту какой-то необычайный трепет, в котором был, конечно, и внезапный испуг, и вместе с тем, в одном и том же ударе сердца, самое странное, ликующее, а в следующем миг, может быть, даже горделивое ощущение удвоен-

ности своего сознания.

Он увертывался, отступал, прятался, но теперь, доведенный до гнева, он будет биться! В этом чувстве слились, как в одном глотке, и страх, и восхищение. Но чудеснее всего то, что это восхищение было таким живым, так радовало самого Брайдона, потому что ведь если там наверху, загнанный в нору и готовый к бою, ждет не кто иной, как его второе «я», то, значит, это непостижимое создание не оказалось в конечном счете недостойным его. Вот он восстал там – где-то очень близко, хотя еще невидимый, как и должно в конце концов восстать любое преследуемое существо, даже тот червяк из ходячей поговорки, когда на него наступят ⁷; и Брайдон в ту минуту, вероятно, испытал такое сложное чувство, какое едва ли когда совмещалось со здравым рассудком. С одной стороны, ему было бы стыдно, если бы действующее лицо, так интимно связанное с ним, одержало верх только путем уверток и до конца не решилось бы пойти в открытую; так что та капля опасности, которая сейчас возникла, как-то вывела всю ситуацию. И вместе с тем каким-то иным поворотом той же тонкой восприимчивости он уже взвешивал, насколько теперь повысилась для него вероятность самому поддаться страху; таким образом, радуясь тому, что он мог в другой своей форме активно внушить страх, он одновре-

⁷ *Тот червяк из ходячей поговорки, когда на него наступят.* – Английская поговорка «Наступи на червяка, и он изогнется» (Tread on a worm and it will turn) имеет русский аналог: «Всякому терпению приходит конец».

менно трепетал за ту свою форму, в которой ему, возможно, пришлось бы пассивно испытывать страх.

Эти опасения немного погодя, вероятно, разрослись в нем, ибо самым странным моментом в его приключениях, самым памятным и интересным в последующем кризисе были, безусловно, те несколько мгновений сосредоточенного и сознательного combat ⁸, когда он почувствовал вдруг необходимость за что-то держаться, почти как человек, который скользит и скользит вниз по какому-то гибельному склону, – острое побуждение двигаться, действовать, нападать как-нибудь и на что-нибудь, – одним словом, показать себе самому, что он не боится. В этом состоянии ему ничего и не оставалось, как только «держаться»; если бы в огромной пустоте, окружавшей его, нашлось за что ухватиться он, вероятно, ощутил бы, что стискивает что-то изо всех сил, точно так же как дома человек при внезапном испуге машинально стискивает спинку ближайшего стула. Во всяком случае, он сделал странную вещь, неожиданно для самого себя и в первый раз с тех пор, как стал осваивать этот дом – и это свое действие он ясно ощутил и запомнил, – он вдруг закрыл глаза, крепко зажмурился на целую долгую минуту, как бы повинуюсь все тому же предчувствию опасности и страху что-то увидеть. Когда он их открыл, ему показалось, что в комнате и в прилежащих других комнатах стало светлее – настолько светлее, что он в первое мгновенье даже подумал, не начался

⁸ Сражения (*фр.*).

ли уже рассвет. Но что бы это ни было, он твердо стоял на том самом месте, где остановился; сопротивление помогло, у него теперь было чувство, что он что-то преодолел и оно миновало; немного погодя он понял, что это такое было: ему угрожала прямая опасность обратиться и бегство. Он напряг всю свою волю, чтобы не двинуться; без этого он устремился бы к лестнице и, как сейчас ему казалось, даже с закрытыми по-прежнему глазами сумел бы сбежать по ступенькам, прямо и быстро до самого низу.

Ладно, он выдержал, вот он здесь, все еще наверху, в самом запутанном лабиринте верхних комнат, и придется еще продираться сквозь остальные, сквозь весь остальной дом, когда придет время уходить. Он уйдет в свое время, только в свое время, разве он не уходил каждую ночь примерно в один и тот же час? Он вынул часы – посмотреть, для этого было достаточно светло, – всего четверть второго, он никогда не уходил так рано. К себе в отель он добирался примерно в два, а ходьбы туда четверть часа. Вот он и дожидается последней четверти, а до этого не тронется с места. И он держал часы перед глазами, размышляя о том, что это ожидание, которое, надо признаться, стоит ему усилий, как раз и послужит желательным ему доказательством. Оно докажет его мужество, хотя бог весть, не понадобится ли еще большее мужество для того, чтобы наконец тронуться с места? Главное, что он сейчас чувствовал, это что если уж он вначале не улепетнул, то теперь должен соблюдать свое досто-

инство, – никогда еще за всю свою жизнь он не воспринимал так осязаемо это достоинство, которое нужно постоянно хранить и нести как знамя. Оно представлялось ему почти в материальном образе, присущем более романтической эпохе. Эта мысль только блеснула в его уме и тотчас осветилась более трезвым светом: да какая же романтическая эпоха могла бы предложить ему что-нибудь более сложное, чем его нынешнее состояние духа, или, если судить, как говорится, объективно, что-нибудь более удивительное, чем его теперешнее положение? Единственная разница могла быть в том, что в те героические времена он, потрясая над головой своим достоинством, как пергаментным свитком, проследовал бы на лестницу с обнаженной шпагой в другой руке. А сейчас тот светильник, что он поставил на камине в соседней комнате, будет изображать у него шпагу, для овладения каковой принадлежностью он и сделал в ближайшую минуту требуемое число шагов. Дверь между комнатами была открыта, а из второй комнаты еще дверь открывалась в третью. Все эти три комнаты, как он хорошо помнил, кроме того, имели каждая отдельный выход в общий коридор, но за ними тремя находилась еще четвертая без такого выхода; это был тупичок с единственной дверью из третьей комнаты, через которую только и можно было в него проникнуть. Двинуться, вновь услышать звук своих шагов – и то уже было существенной поддержкой, хотя Брайдон, даже признавая это, все же опять немного помедлил возле каминной дос-

ки, на которой горела его свечка. Когда же он опять двинулся, еще нерешительно, не зная, куда повернуть, он внезапно столкнулся с одним обстоятельством, которое после кое-каких первоначальных и довольно вялых предчувствий теперь вдруг подействовало на него как удар в сердце, как это бывает иногда при неожиданно вспыхнувшем воспоминании, когда на миг становится ясно, что дальше уже нельзя счастливо забывать. Перед ним была дверь, которой заканчивалась эта коротенькая четырехкомнатная анфилада и которую он теперь наблюдал с ближайшего порога, не находившегося с ней на прямой линии. Этой дверью, отнесенной немного влево, Брайдон, стоило ему только ее открыть, мог бы проникнуть в последнюю комнату из четырех, ту самую комнату безо всякого другого входа и выхода; да, конечно, мог бы, если бы только, по глубочайшему его убеждению, она, эта дверь, не была закрыта уже *после* последнего его посещения, примерно с четверть часа назад. Он смотрел во все глаза на это чудо, опять застыв на месте и опять затаив дыхание, мысленно проверяя, что это может значить. Да, это точно, дверь была закрыта *после*, потому что во время первого его обхода она, вне всяких сомнений, была открыта!

Он был полностью убежден, что что-то случилось между этими двумя моментами, потому что, случись это раньше (то есть до его первого обхода всех комнат в этот вечер), он не мог бы не заметить, что на его пути совсем необычно возникла эта преграда. А вот уже после первого обхода он пере-

жил такие исключительные волнения, которые вполне могли смазать в его памяти то, что им непосредственно предшествовало; и он попытался уверить себя, что он, может быть, заходил в эту комнату, а выходя, нечаянно, машинально потянул дверь за собой. Беда только в том, что это было именно то, чего он никогда не делал; это было бы, можно сказать, против всей его системы, сутью которой было сохранить свободными все далекие перспективы, какие имелись в доме. Брайдону с самого начала мерещилась одна и та же картина (он сам это прекрасно сознавал): в дальнем конце одной из этих длинных прямых дорожек странное появление его сбитой с толку жертвы (какая ирония заключалась теперь в этом уже столь мало подходящем определении) – вот та форма успеха, которую облюбовало его воображение, каждый раз внося в нее, кроме того, какие-нибудь изящные подробности. Сто раз он испытывал волнение победы, которое затем сникало; сто раз он мысленно восклицал; «Вот он!», поддаваясь какой-то мимолетной галлюцинации. Самый дом весьма благоприятствовал именно таким представлениям; Брайдон мог только дивиться вкусу и архитектурной моде того давнего времени, столь пристрастной к умножению дверей и в этом прямо противоположной теперешней тенденции чуть ли не вовсе их упразднить; во всяком случае, такая архитектурная его особенность в какой-то мере, возможно, даже и породила это наваждение – уверенность, что он вот-вот увидит то, что искал, как в подзорную трубу, где его можно бу-

дет сфокусировать и изучать в этой уменьшающей перспективе с полным удобством и даже с опорой для локтя.

Таковыми мыслями было загружено тогда его внимание, и этого вполне хватало, чтобы придать недоброе значение тому, что он видел. Раз он не мог, ни по какой своей оплошности, сам закрыть, эту дверь, раз он этого не сделал, и это было немислимо, что же оставалось думать, как не то, что тут участвовал еще другой фактор. Минуту назад Брайдон, как ему казалось, почти уловил на своем лице его дыханье, – но когда же он был, этот фактор, так близок ему, так реален, как сейчас, в этом простом, логическом, вполне человеческом действии? То есть оно было так логично, что казалось вполне человеческим, а вот каким оно представлялось сейчас Брайдону, когда он, слегка задыхаясь, чувствовал, что глаза у него чуть не выходят из орбит? Ах, на этот раз они наконец оба здесь, эти две противоположные его проекции, и на этот раз, острее, чем когда-либо, вставал вопрос об опасности. И с ним – тоже острее, чем когда-либо, – вопрос о мужестве. Плоское лицо двери как будто говорило ему: «Ну-ка, покажи, сколько его у тебя есть!» Оно пялилось на него, тарасилось, бросало вызов, торопило избрать одно из двух – или он распахнет сейчас эту дверь, или нет. Ах, переживать все это – значило *думать*, а думать, как хорошо понимал Брайдон, стоя здесь, пока секунды, скользят мимо, значит не действовать, значит, что он уже не действовал до сих пор, и, главное, в чем была наигоршая боль и обида, что он

и не будет действовать, что придется все это воспринять совсем иначе, в каком-то новом и грозном свете. Долго ли он вот так медлил, долго ли рассуждал? Не было средств это измерить, так как его собственный внутренний ритм уже изменился, может быть, вследствие именно своей напряженности. И сейчас, когда *тот* был уже заперт там, затравленный, хотя и непокоренный, когда чудесным образом все уже было явно и ощутимо доказано, когда об этом уже возвещалось словно кричащей вывеской, – именно теперь эта перестановка удара в корне меняла всю ситуацию, и Брайдон под конец отчетливо понял, в чем состояла эта перемена.

Она состояла в том, что он теперь как бы получил иное указание, как бы намек свыше на ценность для него Благоразумия! Оно, конечно, давно уже назревало, это откровение; что ж, оно могло не торопиться, могло точно выбрать время – тот самый миг, когда Брайдон еще колебался на пороге, еще не сделал шага ни вперед, ни назад. И вот с ним происходило самое странное на свете: сейчас, когда сделай он только десяток шагов и нажми рукой на щеколду или, если надо, просто плечом или коленом на филенку двери, и весь его первоначальный голод был бы утолен, все его великое любопытство удовлетворено, вся тревога успокоена – да, это было поразительно, – но было также и нечто утонченное и благородное в том, что вся его яростная настойчивость вдруг развеялась от одного прикосновения. Благоразумие – да, он ухватился за это, но не столько потому, что это сбере-

гало его нервы или даже, может быть, жизнь, как по более важной причине – это спасало ситуацию. Когда я здесь говорю «ухватился», я чувствую созвучие этого выражения с тем фактом, что Брайдон сейчас опять, как и несколько времени назад, обрел опору как бы в чем-то вне его лежащем, и немного погодя он уже смог, как и в тот раз, опять двинуться и пересек комнату прямо к закрытой двери. Он не дотронулся до нее, хотя теперь ему казалось, что он мог бы, если б захотел; но он хотел только подождать там немного, чтобы дать понять, чтобы доказать, что он не хочет ее трогать. Теперь он занимал отличную от всех прежних позицию – вплотную к тонкой перегородке, которая одна только и препятствовала раскрытию тайны, но стоял он опустив глаза и разведя руки, весь застывший в нарочитой неподвижности. Он слушал так, как если бы там было что услышать, но эта поза, пока он ее сохранял, сама по себе уже была его ясным ответом: «Раз ты не хочешь, хорошо; я пощажу тебя, я уступлю. Ты тронул меня как мольбой о пощаде; ты убедил меня, что по каким-то высшим и непоколебимым причинам – что я о них знаю? – мы оба пострадали бы. Но я отнесусь к ним с уважением, и, хотя мне выпало такое преимущество, какое, я думаю, никогда еще не было доступно человеку, я ухожу и больше никогда, честью в том клянусь, не буду снова пробовать. Так что покойся в мире и дай покой и мне!»

Таков был для Брайдона внутренний смысл этой последней его демонстрации – торжественной, размеренной и целе-

направленной, какой он и хотел ее сделать. Он мысленно закончил свою речь и отвернулся – и только теперь почувствовал, как глубоко он был взволнован. Он прошел обратно в соседнюю комнату, взял свою свечу, которая, как он заметил, догорела почти до самого подсвечника, и, попутно отметив также, как резок звук его шагов, хоть он и старался ступать легко, он в одну минуту, сам не приметив как, уже очутился на другой стороне дома. Тут он сделал то, чего до сих пор никогда не делал в такие часы, – наполовину открыл окно, из тех, что выходили на фасад, и впустил ночной воздух; раньше он побоялся бы этим разрушить колдовство, царившее в доме. Но теперь это было не важно, колдовство все равно уже было разрушено – разрушено тем, что он уступил и признал себя побежденным, так что впредь и приходить в дом уже не было смысла. Пустая улица – ее иная, чуждая жизнь, так еще подчеркнутая этой огромной, залитой светом пустотой, – была рядом – доступная для зова, для прикосновения, и Брайдон уже чувствовал себя там, в ней, даже еще не сходя со своего столь высокого насеста; и он высматривал что-нибудь утешительно-заурядное, какую-нибудь вульгарно-человеческую черточку: появление мусорщика или вора, какой-либо ночной птицы, самого низшего разряда. Он был бы рад и такому признаку жизни, приветствовал бы даже медлительную поступь своего друга полисмена, которого до сих пор всегда старался избегать, даже не был уверен, что ему не захотелось бы, появившись тот сейчас на улице, вступить с ним

в какой-то контакт, окликнуть его под каким-нибудь предлогом со своего четвертого этажа. Но какой предлог был бы не слишком нелеп и не слишком для него унизителен, какое объяснение помогло бы ему сохранить достоинство и его имени не попасть в газеты – это ему самому было неясно. Он был так занят мыслью о том, как высказать свое новоявленное Благоразумие, выполняя тем клятву, которую только что дал своему противнику, что эта задача заслоняла все остальное, с тем ироническим результатом, что Брайдон на время как бы утратил всякое чувство меры. Если бы он сейчас заметил прислоненную к фасаду стремянку – одну из тех головокружительных вертикалей, которыми пользуются маляры и кровельщики и, случается, оставляют до утра на месте, уж он как-нибудь ухитрился бы, сидя верхом на окне, зацепить ее рукой и ногой и одолеть этот способ спуска. Если бы ему сейчас попало под руку такое нехитрое приспособление на случай пожара, какие он, ночуя в гостиницах, иногда находил у себя в номере – вроде каната с узлами или спасательного полотнища, – он немедля бы им воспользовался в доказательство своей нынешней, ну, скажем, деликатности. Но он напрасно так пестовал в себе это чувство; при отсутствии всякого отклика на него из внешнего мира оно, спустя время – долгое или короткое, Брайдон не мог бы сказать, – снова сникло до уровня лишь смутной боли. Брайдону чудилось, что он уже целую вечность дожидается хоть какого-нибудь движения в этой огромной угрюмой ти-

шине; казалось, самая жизнь города была заколдована – так противоестественно в обе стороны вдоль хорошо знакомых и довольно-таки невзрачных домов длилось без конца это безлюдье и молчанье. Неужели, спросил он сам себя, неужели эти дома с их жестокими лицами, уже просвечивающими серой бледностью сквозь редяющий сумрак, всегда так же мало, как сейчас, отвечали любой потребности его духа? Огромные, людскими руками построенные пустоты, огромные, набитые людьми безмолвия, они часто в самом сердце города в глухие ночные часы надевали своего рода зловещую маску, – именно это огромное всеобщее отрицание и дошло теперь наконец до сознания Брайдона, тем более что, как ни странно, почти невероятно, но вдруг оказалось, что ночь уже кончилась и, по-видимому, вся была им истрачена на его переживания. Он снова посмотрел на часы, увидел, что произошло с его чувством времени (он принимал часы за минуты, а не так, как бывает в иных трудных положениях – минуты за часы), и странный вид улицы зависел не от чего другого, как от слабых, печальных проблесков раннего рассвета, который, конечно, и держал еще все в плену. Оставшийся без ответа призыв Брайдона из собственного открытого окна был единственной ноткой жизни на всей улице, и ему теперь оставалось только прекратить пока всякие попытки, как дело совсем безнадежное. Но даже и в такой глубокой подавленности он оказался способен на действие, доказывавшее – во всяком случае, по теперешней его мерке – необычай-

ную решимость: он вернулся на то самое место, где так еще недавно похолодел от страха, когда исчезла последняя капля сомнения в том, что в доме присутствует еще некто, кроме него самого. Для этого потребовалось усилие, чуть не доведшее его до обморока, но у него на то имелась своя причина, и она на минуту победила все. А еще предстояло пройти через все остальные комнаты – что будет с ним, если дверь, которая, как он видел, была закрыта, теперь вдруг окажется опять открытой? Он мог согласиться с мыслью, что эта закрытая дверь, по отношению к нему, была, в сущности, актом милосердия, дарованной ему возможностью спокойно сойти вниз, удалиться, покинуть дом и никогда больше его не осквернять. Это была логичная мысль, она работала; но чем все это могло реально обернуться для него, теперь, очевидно, целиком зависело от степени той снисходительности, которую его недавние действия или, вернее, его недавнее бездействие могло снискать у его незримого противника. Образ этого противника, поджидающего, пока он, Брайдон, двинется, никогда еще не был так непосредственно ощутим для его нервов, как сейчас, когда он только что поколебался на самой грани, за которой мог уже обрести полную уверенность. Ибо при всей своей решимости или, точнее, при всем своем страхе он действительно поколебался, он не осмелился увидеть. Риск был слишком велик, и страх слишком отчетлив – в эту минуту он принял особо зловещий характер.

Брайдон знал – и так твердо он еще ничего не знал в жиз-

ни, – что, увидь он сейчас эту дверь открытой, тут бы и пришел ему постыдный конец. Это значило бы, что виновник его стыда – ибо, конечно, постыдным было его малодушие – опять на свободе и владеет всем домом; и Брайдон с неотвратимой ясностью предвидел тот поступок, к которому все это его вынудит. Это прогонит его прямо к тому окну, которое он оставил открытым, и через это окно – пусть даже и нет там ни длинной стремянки, ни болтающегося каната – он неизбежно, губительно, обреченно устремится на улицу. Этот мерзкий конец он мог все же предотвратить, но предотвратить только ценой своевременного отказа от уверенности. Ему еще предстояло пробираться чуть не сквозь весь дом – в этом смысле положение не изменилось, – но теперь он знал, что только отсутствие уверенности могло его на это подвигнуть. Он тихонько отступил туда, где раньше было приостановился – сделать это и то уж казалось ему спасением, – и слепо заторопился к большой лестнице, оставляя позади зияющие двери комнат и гулкие коридоры. Теперь он находился на самом верху лестницы, а перед ним был широкий, слабо освещенный спуск и последовательно три просторные площадки по числу этажей. Он старался делать все как можно мягче, но каблуки его громко стучали об пол, и когда через минуту-другую он это заметил, то и это почему-то засчитал себе за поддержку. Говорить он не решался, звук голоса его бы испугал, а такой ходячий прием или развлечение, как «посвистать для бодрости» (в прямом смысле или в переносном), он

считал вульгарным; тем не менее ему приятно было слышать свои шаги, и, когда он достиг первой площадки – без спешки, но и без заминок, – эта начальная стадия успеха вызвала у него вздох облегчения. Дом к тому же казался огромным, все масштабы его чрезмерными; открытые комнаты – взгляд Брайдона не пропускал ни одной из них, – забранные изнутри ставнями, чернели, как горловины пещер, и только стеклянная крыша, венчавшая этот глубокий колодец, наполняла его светом, в котором удобно было двигаться, но который своей странной окраской напоминал какой-то подводный мир. Брайдон попытался думать о чем-нибудь благородном, о том, например, какой у него замечательный дом, великолепное владенье, но все это благородство тут же перешло в чистую радость при мысли, что теперь-то уж он скоро с ним разделается. Приходите вы, строители, вы, разрушители, – приходите, как только будет охота. В конце двух маршей он словно попал в другую зону, а начиная с середины третьего, после чего оставался еще один, Брайдон отметил уже влияние нижних окон, полузадернутых штор, случайных отблесков уличных фонарей и лощеных пространств вестибюля. Это было уже дно моря со своим собственным освещением, а когда Брайдон приподнялся и бросил долгий взгляд через перила, то даже увидел, что оно вымощено знакомыми ему с детства мраморными квадратами. К этому времени он, бесспорно, уже чувствовал себя повольтотнее – как он мог бы выразиться в менее необычном случае, – что, собственно,

и позволило ему остановиться и перевести дух, и вольготность эта еще возросла при виде старых черно-белых плит. Но главное, что он чувствовал сейчас, когда предвкушение безнаказанности влекло его словно твердыми крепкими руками, это что сейчас уж можно было точно сказать, какая картина предстала бы ему там, наверху, если бы у него хватило мужества еще раз глянуть. Запертая дверь, теперь уже, слава богу, далекая, конечно, была по-прежнему заперта, а ему теперь нужна была только дверь из дома.

Он еще немного спустился, пересек коридор, по которому был доступ со всего этажа к последнему маршу, и если он здесь остановился еще на миг, то больше всего потому, что слишком уж острой была радость близкого и верного освобождения. Он даже зажмурился от счастья, а когда вновь открыл глаза, перед ним лежал всего лишь коротенький прямой спуск, последний отрезок лестницы. Тут тоже царила безнаказанность, но безнаказанность почти чрезмерная, так как боковые фонари и высокий, из ребристого стекла свод над входом бросали свой мерцающий свет прямо в холл, что происходило, как Брайдон тут же разглядел, оттого, что вестибюль сейчас не был ничем отделен от холла – внутренняя дверь, в него ведущая, была распахнута настежь, обе ее створки откинута к самым стенам. И тут перед Брайдоном опять встал *вопрос*, от которого он почувствовал, что глаза у него лезут на лоб, как это уже было сегодня там, наверху, перед той, другой, дверью. И если про ту он твердо знал, что

при первом своем обходе он оставил ее открытой, то про эту он знал не хуже, что ее-то он оставил тогда закрытой, и не значило ли это, что именно сейчас он оказался в особенно тесной близости к какому-то непостижимому оккультному явлению? Этот вопрос подействовал на него, как удар ножом в бок, но ответ еще медлил и даже как будто терялся в смутном сумраке, где скупно пропущенный в дом рассвет создавал вокруг всей наружной двери чуть мерцающую арку, полукруглое обрамление, холодный серебряный нимб, который словно бы слегка пульсировал на глазах у Брайдона, то сдвигаясь в сторону, то расширяясь и сжимаясь опять.

И там, внутри, казалось, еще что-то было, скрытое какой-то неясностью и совпадающее по размеру с непрозрачной задней поверхностью – крашенными масляной краской филенками этого последнего барьера на пути к спасению, ключ от которого был у Брайдона в кармане. Эта неясность не прояснялась даже под пристальным его взглядом, она дразнила его, затуманивая и подвергая сомнению то, что он считал несомненным, так что, поколебавшись еще миг перед новым шагом, он дал себе волю и двинулся вперед, рассудив, что тут по крайней мере хоть есть что-то такое, что можно встретить, тронуть, взять, распознать – что-то совсем неестественное и страшное, но борьба с чем была для него необходимым условием либо освобождения, либо окончательной неудачи. Краевая полутьма, довольно еще густая и темная, была надежным заслоном для этой фигуры, стояв-

шей в ней так неподвижно, как статуя в нише или какой-нибудь часовой под черным забралом, сторожащий сокровище. Впоследствии Брайдон припомнил, разобрал и понял то странное явление, которое он, как ему казалось, наблюдал, пока спускался по этим последним ступенькам. Он увидел, как эта срединная неясность стала мало-помалу сжиматься в своем широком сером мерцающем обрамлении, и почувствовал, что она стремится принять ту самую форму, которую вот уже сколько дней жаждало узреть его ненасытное любопытство. Она маячила, темная и угрюмая, она угрожала – это было что-то, это был кто-то, чудо личного присутствия.

Застылый, но одушевленный, призрачный и вместе с тем реальный – мужчина того же состава и той же стати, что и он сам, ждал его внизу, чтобы насмерть помериться с ним силами. Так считал Брайдон, но только до тех пор, пока, еще приблизившись, не разглядел, что дразнившая его неясность происходила от поднятых к голове рук его противника – вместо того чтобы воинственно выдвинуть лицо вперед, он робко прятал его в ладонях как бы с мольбой о пощаде. Так получилось, что Брайдон, стоя перед ним, мог вдоволь его разглядывать; теперь стало уже светлее, и каждая его особенность выделялась четко и жестко – его нарочитая неподвижность, его живая реальность, седеющая склоненная голова и белые руки, закрывающие лицо, гротескная в данном случае банальность безупречного вечернего костюма – фрак, пенсне на шнурке, блеск шелковых отворотов и белейшей манишки,

жемчужная булавка в галстуке, золотая цепочка при часах, лакированные туфли. Ни один портрет, написанный кем-либо из современных известных художников, не мог бы так отчетливо его изобразить, с большим искусством вывести его из рамы: он словно весь был подвергнут какой-то утонченной обработке, каждая его черточка, каждая тень и каждый рельеф.

Внезапный поворот чувств, который наш друг испытал прежде даже, чем осмыслил, был, конечно, огромен; такой перепад – от прежних опасений вдруг к этому, совсем уж непостижимому маневру противника. По крайней мере такой смысл Брайдон склонен был, дивясь, вложить в происшедшее, ибо он мог только дивиться на свое другое «я» в его новой позиции... Разве не доказывало все это, что ему, Брайдону, символизирующему здесь полноценную жизнь с ее достижениями и удовольствиями, жизнь торжествующую, тот, другой, не в силах был смотреть в лицо в час ее торжества? Разве не были доказательством эти великолепные руки, закрывающие лицо, сильные и плотно к лицу прижатые? Так решительно и так плотно прижатые, что, несмотря даже на одну особую истину, одну маленькую реальность, погашающую все остальное, – именно на тот факт, что на одной из этих рук не хватало двух пальцев, как бы случайно отстреленных и тем сведенных всего лишь к коротеньким обрубкам, – несмотря даже на это, лицо было все же надежно укрыто и спасено.

Спасено ли, однако? Брайдон сомневался молча, пока самая безнаказанность его позы и настойчивость взглядов не вызвали, как он почувствовал, какого-то ответного движения, ставшего в следующий же миг, пока голова только еще поднималась, предвестием более глубокой перемены, отречением от более смелого замысла. Руки дрогнули, стали медленно раздвигаться, потом, словно вдруг решившись, соскользнули с лица, оставив его незакрытым и доступным взгляду. Ужас и отвращенье стиснули горло Брайдону, задушив тот звук, который он не в силах был издать; это обнаженное лицо было слишком мерзостным, чтобы он согласился признать его своим, и горящий взор Брайдона выражал всю страстность его протеста. Чтобы это лицо – вот это лицо – было лицом Спенсера Брайдона? Он еще всматривался в него, но уже наполовину отвернувшись, страхась и отказываясь верить, падая стремглав с высот своих прежних переживаний. Это было неслыханно, непостижимо, ужасно, лишено всякой связи с действительностью. Над ним надсмеялись, втянув его в эту игру; то видение, за которым он столько гонялся, было сейчас перед его глазами, и страх еще лежал на сердце, но смехотворным представлялись ему теперь все эти зря растраченные ночи и горькой иронией его наконец достигнутое торжество. Этот облик, который он сейчас видел, не совпадал с его собственным ни в единой точке; тождество с ним было бы чудовищным.

Да, тысячу раз да, – он видел это ясно, когда лицо при-

близилось, – это было лицо совсем чужого человека. Оно надвинулось на него еще ближе – точь-в-точь как те расширяющиеся фантастические изображения, проецируемые волшебным фонарем его детства, – ибо этот чужак, кто бы он ни был, злобный, отвратительный, грубый, вульгарный, перешел в наступление, и Брайдон понимал, что не выстоит. А затем, под еще более сильным нажимом, уже почти в дурноте от самой резкости столкновения, откачнувшись назад, словно от жаркого дыхания и пробужденного гнева более крупного, чем он сам, животного, яростно кипучей силы, перед которой собственная его сила пасовала, он почувствовал, что все эти видения отступают куда-то во тьму и ноги у него подкашиваются. Голова у него закружилась; все стало гаснуть; все погасло.

III

Его привел в сознание – это он ясно расслышал – голос миссис Мелдун, прозвучавший где-то очень близко, так близко, что ему тут же почудилось, что он видит ее, как она стоит на полу на коленях перед ним, а он сам лежит и смотрит на нее снизу вверх. Но он лежал не просто растянувшись на полу, его приподняли и поддерживали, и он ощущал всю нежность этой поддержки, а в особенности ту необычайную мягкость, на которой покоилась его голова, а вокруг веяло легкое освежающее благоухание. Он дивился, он пытался сообразить, разум еще плохо служил ему; потом возникло другое лицо, не сбоку, а склоненное прямо над ним, и он наконец понял, что Алиса Ставертон устроила ему у себя на коленях просторную, идеально удобную подушку и ради этого уселась на самой нижней ступеньке лестницы, а остальное его длинное тело вытянулось на его любимых черно-белых плитах. Они были холодные, эти мраморные квадраты его юности, но сам он холоден не был в этот момент возврата его сознания, в самый чудесный час из всех им пережитых, который оставил его таким благодарным, таким бездонно покорным и вместе с тем хозяином всех рассыпанных кругом сокровищ интеллекта, только и ждущих, чтобы он мирно ими завладел, растворенных (как ему хотелось бы сказать) в самом воздухе этого дома и порождающих золотое сиянье это-

го уже к вечеру клонящегося осеннего дня. Он вернулся, да, вернулся из такой дали, до какой ни один человек, кроме него, еще не достигал, но странно, что, понимая это, он тем не менее воспринимал то, к чему он вернулся, как самое главное, самое важное, как будто только ради него он и совершал все свои изумительные путешествия. Медленно, но верно его сознание расширялось, представление о том, что с ним произошло, пополнялось подробностями; он уже помнил, что его чудесным образом *принесли* назад – подняли и бережно несли с того места, где подобрали, в самом дальнем углу нескончаемого серого коридора. И все это время он был в забытьи, пробудил его только перерыв в долгом плавном движении.

Это вернуло его к сознанию, к трезвой оценке вещей – да, в том и заключалась прелесть его положения, все больше и больше напоминавшего положение человека, который заснул после того, как получил известие о доставшемся ему богатом наследстве, а во сне увидел, что никакого наследства нет, что все это результат какой-то гадостной путаницы с вовсе не идущими к делу вещами, но, проснувшись, опять обрел безмятежную уверенность в правде случившегося, и ему оставалось только лежать и следить, как она растет. Таков был смысл его терпения: только не мешать, пусть все прояснится. К тому же его, вероятно, еще не раз, с перерывами, поднимали и опять несли – иначе *как и почему* он оказался бы несколько позже и при более ярком закатном све-

те уже не у подножья лестницы – она-то осталась где-то в дальнем темном конце его туннеля, – а в одной из оконных ниш его высокого зала, на диванчике, покрытом мантильей из какой-то мягкой материи, отороченной серым мехом, который по виду был ему почему-то знаком и который он все время любовно поглаживал одной рукой как залог истинности происходящего. Лицо миссис Мелдун куда-то исчезло, но другое лицо – то, второе, которое он узнал, – склонилось над ним в таком повороте, что легко было понять, как именно он и сейчас еще приподнят и как устроен на подушках. Брайдон все это разглядел, и чем дальше он разглядывал, тем большее испытывал удовлетворение: ему было так мирно на душе и так хорошо, как будто он только что вкусил как следует и еды, и питья. Эти две женщины нашли его, потому что миссис Мелдун появилась в свой положенный час на крыльце и отперла дверь своим ключом, но, главное, потому, что, к счастью, это произошло тогда, когда мисс Ставертон еще медлила возле дома. Она уже хотела уходить, очень обеспокоенная, так как перед тем долго и совершенно напрасно дергала ручку звонка – она приблизительно рассчитала время прихода уборщицы. Но та, к счастью, пришла, пока мисс Ставертон еще была здесь, они вместе вошли в дом. Брайдон лежал тогда там, на пороге вестибюля, почти так же, как лежал сейчас, то есть как будто упал со всего размаха, но, удивительно, не получив ни единой раны или царапины, только в глубоком обмороке. Впрочем, сейчас, с уже прояс-

нившейся головой, он был больше всего потрясен тем, что на какие-то страшные несколько секунд Алиса Ставертон не сомневалась в том, что он умер.

– А это, наверно, так и было, – размышлял он вслух. – Да, конечно, иначе и быть не могло. Вы буквально вернули меня к жизни. Только, – его полные удивленья глаза поднялись к ней, – во имя всего святого, как?

Ей понадобилось лишь мгновение, чтобы склониться и поцеловать его, и что-то в том, как она это сделала, и в том, как ее ладони охватили и сжали его голову, пока он впивал спокойное милосердие и нежную властность ее губ, – что-то во всем этом блаженстве каким-то образом давало ответ на все.

– А теперь я вас никому не отдам, – сказала она.

– Ах, не отдавайте, не отдавайте меня!... – попросил он, глядя в ее лицо, все еще склоненное над ним, в ответ на что оно склонилось еще ниже, совсем низко, вплотную прижалось к его щеке. Это была печать, положенная на их судьбы, и он еще долгий блаженный миг молча прислушивался к этому новому ощущению. Потом все же вернулся к прежнему ходу мыслей. – Но как вы догадались?

– Я беспокоилась. Вы ведь хотели прийти, помните? И не прислали сказать, что не можете.

– Да, помню. Я должен был прийти к вам сегодня в час. – Это связывало его со «старой» их жизнью и отношениями – такими еще близкими и такими уже далекими. – А вместо

того я был тогда в этой странной тьме... где это было, что это такое было? Я, наверно, очень долго там был. – Он мог только гадать о глубине и длительности своего обморока.

– С прошлой ночи? – спросила она нерешительно, страшась показаться нескромной.

– Вернее, с сегодняшнего утра – там был такой холодный тусклый рассвет... Но где я-то был? – жалобно протянул он. – Где я был?... – Он почувствовал, что она крепче прижала его к себе, и это помогло ему уже бестревожно, с ощущением полной безопасности продлить свою тягучую жалобу. – Какой долгий и темный день!

Полная нежности, она подождала минуту.

– В холодном тусклом рассвете? – выговорила она дрожащим голосом.

Но он уже был занят тем, что пытался связать воедино все отдельные части этого фантастического происшествия.

– А когда я не пришел, вы, значит, прямо отправились...

Но она не хотела разбрасываться.

– Сперва я пошла в вашу гостиницу, там мне сказали, что вас нет. Что вы накануне обедали в городе и с тех пор не возвращались. Но они как будто знали, что вы были в вашем клубе.

– Тогда вы подумали об *этом*?

– О чем? – спросила она, помолчав.

– Ну, о том, что случилось.

– Я была уверена, что вы здесь были. Я ведь все время

знала, – пояснила она, – что вы сюда ходите.

– Знали?

– Ну, во всяком случае, я так думала. Я ничего вам не сказала после того разговора, который у нас был месяц назад, но я была уверена. Я знала, что вы добьетесь, – закончила она.

– То есть что я не угомонюсь?

– Что вы его увидите.

– Так ведь нет же! – воскликнул Брайдон опять со своим длинным жалобным полустоном. – Там было появился кто-то – ужасная, в общем, скотина, которого я, на горе себе, затравил. Но это был не я.

Опять она еще ниже склонилась и глубоко заглянула ему в глаза.

– Нет, конечно, не вы. – И пока ее лицо висело над ним, ему почудилось, что он почти уже уловил в нем какое-то особенное выражение, затуманенное улыбкой. – Нет, благодарение Богу, – продолжала она, – это были не вы. Да этого и быть не могло.

– Но ведь было, – почти с кротким упорством повторил он, глядя прямо перед собой в одну точку, как уже не раз с ним бывало за последние недели. – Я должен был познать самого себя.

– Вы не могли, – сказала она ему в утешение. И затем возвращаясь к прежнему и как будто стремясь отчитаться в том, что сама она тогда делала, она продолжала: – Но не в том

важность, что вы еще не возвращались домой. Я дождалась того часа, когда мы с вами застали миссис Мелдун в доме, помните, когда мы с вами вместе сюда приходили, и она пришла, как я вам уже сказала, как раз в ту минуту, когда я, потеряв всякую надежду, что мне откроют, в отчаянии еще стояла на крыльце. Впрочем, если бы даже и не было такого счастья, что она тут появилась, я бы все равно немного погодя уж как-нибудь придумала, где ее отыскать. Но это не все, – сказала Алиса Ставертон, словно возвращаясь к какому-то своему прежнему намерению, – дело не только в этом. Лежа, он обратил глаза назад и вверх, чтобы ее увидеть.

– А в чем же еще?

Она прочитала в его глазах расшевеленное ею удивление.

– Вы сказали, в холодном тусклом рассвете? Ну так вот что: сегодня утром в холодном тусклом рассвете я тоже увидела вас.

– Меня?...

– Его, – сказала Алиса Ставертон. – Это, наверно, происходило в один и тот же миг.

Он полежал минуту, сосредоточившись, как будто хотел быть очень рассудительным.

– В тот же самый миг?

– Да, и опять во сне, как в тот раз, о котором я вам уже рассказывала. Он опять пришел ко мне. Тогда я поняла, что это знак. Что он пришел к вам тоже.

Тут Брайдон приподнялся; он хотел получше ее разгля-

деть. Она помогла ему, как только поняла, чего он хочет, и он теперь устойчиво сидел рядом с ней на приоконном диванчике и правой рукой сжимал ее левую.

– Он не пришел ко мне.

– Но вы обрели себя. – Она улыбнулась чудесной улыбкой.

– Да, теперь-то я обрел себя, это верно, благодаря вам, моя дорогая. Но тот скот с его жуткой физиономией – он мне совершенно чужой. В нем нет ничего от меня, даже от такого меня, каким я мог стать, – воинственно заявил Брайдон.

Но она сохраняла ту ясность, которая была для него как дыхание непогрешимости.

– Но разве не в том весь вопрос, что вы сами тогда были бы другим?

Он бросил на нее сердитый взгляд.

– До такой степени другим?

Ее ответный взгляд опять показался ему чудесней всего на свете.

– Разве вам не хотелось бы узнать, насколько другим? Так вот сегодня утром, – сказала она, – вы явились мне...

– В его образе?

– Как совершенный незнакомец.

– Так почему же вы узнали, что это я?

– Потому что, как я вам уже говорила много недель назад, мой ум и мое воображение столько трудились над этим вопросом – чем вы могли и чем не могли быть, – все, понимаете? – чтобы показать, как я о вас думаю. И тут среди всех

этих волнений вы вдруг пришли ко мне, чтобы меня успокоить. Тогда я поняла, – продолжала она, – что раз этот вопрос вас тоже не меньше волнует, то к вам тоже само собой придет решение. И когда сегодня утром я вас опять увидела во сне, я уже знала, что, значит, оно к вам пришло; и кроме того, я с первой же минуты почувствовала, что я почему-то вам нужна. Как будто он мне об этом сказал. Так отчего бы, – она странно усмехнулась, – отчего бы мне не любить его?

Это даже подняло Спенсера Брайдона на ноги.

– Вы любите это страшилище?

– Я могла бы любить его. И для меня, – сказала она, – он не был страшилищем. Я приняла его.

– Приняли? – совсем уже растерянно прозвучал голос Брайдона.

– Да. Сперва потому, что заинтересовалась его отличием от вас. И так как я не отвергла его и так как я поняла его, – в чем вы, мой дорогой, даже в последний момент, когда уже выяснились все различия, так жестоко ему отказали, – так вот, по всем этим причинам мне он не казался таким уж страшным. А ему, может быть, было приятно, что я его пожалела.

Она уже стояла рядом с ним, все еще держа его за руку, а другой рукой обнимая и поддерживая его. И хотя все это затеплило перед ним какой-то неясный свет, – «вы пожалели его?» – нехотя и обиженно проговорил он.

– Он был несчастлив, он весь какой-то опустошенный, –

сказала она.

– А я не был несчастным? Я – посмотрите только на меня! – я-то не опустошенный?

– Так я ведь не говорю, что он мне милее, чем вы, – согласилась она, подумав. – Но он такой мрачный, такой измученный. Он не сумел бы так изящно, как вы, поигрывать вашим прелестным моноклем.

– Да-а! – Эта мысль вдруг поразила Брайдона. – В деловые кварталы мне с моноклем нельзя было бы показаться. Они бы там меня совсем осмеяли.

– А его большое пенсне с очень выпуклыми стеклами – я заметила, я уже видела такие, – ведь это значит, что у него совсем загубленное зрение... А его бедная правая рука!...

– Ах! – Брайдона передернуло – то ли из-за доказанного теперь их тождества, то ли от сокрушения о потерянных пальцах. Затем: – У него есть миллион в год, – добавил он просветленно. – Но у него нет *вас*.

– И он не вы, нет, нет, он все-таки *не вы!* – прошептала она, когда он прижал ее к груди.